



Валерий Федорович Михайлов родился в 1946 году в Караганде. Поэт, писатель, публицист. Автор более 20 книг стихов и прозы, среди которых — работа «Великий джуг», посвященная трагедии голодомора в казахской степи, жизнеописание М.Ю. Лермонтова «Роковое предчувствие». Главный редактор журнала «Простор». Член Союза писателей России и Союза писателей Казахстана. Живет в Алматы.

Валерий Михайлов

ВОКРУГ «СТОЛБЦОВ»

(120 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого)

За минувшее время о «Столбцах» написано столько, что объем этого материала — книги, исследования, рецензии, отзывы и сопутствующие воспоминания — во много и много раз превышает размер того скромного томика, что вышел в Ленинграде в феврале 1929 года. Безусловно, первая книга Николая Заболоцкого стала событием, более того — явлением во всей истории русской поэзии. «Столбцы» — не просто обычный стихотворный сборник, это — книга стихов, то есть единое, цельное произведение искусства. Если сравнивать, к примеру, с музыкой, то это не собрание отдельных пьес, пусть и близких по настроению друг другу, а полнокровная симфония, где все звучащее находится в сложнейшей взаимосвязи и подчинено главной теме.

По энергии и силе поэтического излучения «Столбцы» Заболоцкого стоят в русской поэзии рядом с книгой стихов Боратынского «Сумерки» — в ряду других подобных, очень и очень немногих изданий.

Надо сказать, что еще до выхода книги на молодежных поэтических вечерах в Ленинграде второй половины 1920-х годов знатоки, да и рядовые любители литературы поняли, какой новый, необычный и сильный поэт появился перед ними. Многие были просто напросто поражены стихами, которые без всяких футуристических выкрутасов, свойственных тому времени, читал с эст-

рады обычный с виду светловолосый парень с густым детским румянцем и с детскими же вроде бы пронзительно голубыми глазами, взгляд которых вблизи, при внимательном рассмотрении, был сильным, твердым и разгадке не поддавался.

«Хорошо помню первое, очень, очень острое, почти ошеломляющее впечатление от стихов Заболоцкого, которые я слышал в его чтении, — вспоминал десятилетия спустя поэт и литературовед Дмитрий Евгеньевич Максимов. — Оно вполне отвечало тому, что Цветаева в применении к каким то совсем другим явлениям назвала „ударом узнавания“. <...>

Гротескный иррационализм словосочетаний как будто сталкивался в этих стихах, и в их голосовой подаче, и в их содержании, с четкостью звука, бодрствующей мыслью, определенностью темы. <...>

Больше всего останавливала внимание эта концовка (стихотворения „Белая ночь“. — В.М.). В ней ощущалась не только эпатирующая смелость, смысловая сдвинутость, которые могли возникать в поэзии и возникали иногда на почве чисто рационалистического задания. Эти стихи притягивали какой то органической *странностью* („отстранение“ — не то слово!), заключенным в них невыразимым, но гипнотически действующим „третьим смыслом“, от которого кружилась голова».

Столь же острое впечатление произвели стихи из будущих «Столбцов» на Николая Леонидовича Степанова, попавшего на одно из первых выступлений Заболоцкого в Ленинграде:

«Последним читал Заболоцкий. В старенькой гимнастерке он казался совсем юным, румяным деревенским парнишкой. В то же время серьезность манер, круглые очки делали его похожим на молодого ученого, а легкая застенчивость человека, не привыкшего к эстрадным выступлениям, вызывала симпатию.

Заболоцкий сначала прочел небольшое стихотворение „Движение“, напомнившее мне ранние футуристические рисунки:

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня.
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

(Любопытно признание самого поэта: по воспоминаниям Андрея Яковлевича Сергеева, он уверял, что по написанию стихотворения он долго считал оба четверостишия рифмованными. — В.М.)

Но особенно сильное впечатление на меня да и на всех присутствующих произвели стихи о Ленинграде. Ленинграде времен НЭПа с его пьяным пивным баром на Невском, с мутной накипью крикливого мещанства. Неожиданно и резко поразило стихотворение „На рынке“, по фламандски реальные картины, живописная деятельность образов, словно перенесенных с картины в стихи. <...>

Здесь уже, бесспорно, явился поэт со своим видением мира, со своим голосом. Поэт необычайной, почти наглядной осязаемости вещей, предельной изобразительной живописности образа. Тщательная выписанность натюрморта, простодушный мужицкий комизм Тенирса или Брейгеля приобретали трагическую гротескную выразительность...»

Степанов был филологом, учился в ту пору в аспирантуре университета у Бориса Эйхенбаума. На диспуте после выступления поэтов, где кто то насмешничал, а кто то зло опровергал обэриутов, он взял слово и с неожиданным для самого себя воодушевлением поддержал стихи Заболоцкого. А потом пришел к нему за кулисы, познакомился и позвал к себе в гости. Обнаружилось, что оба любят Хлебникова: Степанов

тогда уже начал работу над изданием его первого собрания сочинений. Когда они встретились у Николая Леонидовича на Бронницкой, долго по очереди читали своего кумира — его поэмы «Поэт и русалка», «Три сестры», «Ночной обыск». «Хлебников всегда оставался одним из его любимых поэтов...» — написал Степанов в мемуарном очерке.

После того вечера они стали друзьями — и, как оказалось, на всю жизнь...

Николай Степанов первым же и сразу откликнулся в печати на «Столбцы»: уже в марте 1929 года в журнале «Звезда» появилась его статья о только что вышедшей книге, с толковым разбором и точными определениями поэтики Заболоцкого.

«Отказ от „поэтической поэзы“ ведет у Заболоцкого к объективной этичности его стихов, они очень „не лиричны“, — писал молодой филолог. — Заболоцкий входит в поэзию как заботливый хозяин, уверенно расставляющий вещи по местам. Слово у него прочно прикреплено к предмету, материально. <...>

„Густое пекло бытия“ („Народный дом“), пафос быта и плоти вещей — делают стихи Заболоцкого полнокровными. Обязательность, почти лубочная живописность слова — одна из основ поэтического метода. <...>

Образ у Заболоцкого при всей своей „физиологичности“ — эксцентричен. Баснословность и осязательная вещность слова — изменяет пропорции предметов, они кажутся сдвинутыми зрительной фантазмагорией».

Литературовед отметил эпичность стиля, его изобразительную силу и весьма точно определил архаичную «родословную» *столбцов* — их жанровое и внутреннее сходство с одой и сатирой Державина, с XVIII веком русской поэзии. Интересен его вывод о том, что, «двигаясь в последних вещах главным образом в сторону сатиры, Заболоцкий приходит к пародийному разрешению лирики», свойственному Козьме Пруткову. И дело тут, по мнению Степанова, отнюдь не в «почетных традициях», а в поэтическом родстве, проявившемся в результате пересмотра «поэтического инвентаря».

Из поэтов молодых, но уже достаточно известных книгу Заболоцкого горячо приветствовали Николай Тихонов и Эдуард Багрицкий.

Павел Антокольский вспоминал, что еще до знакомства с Николаем Заболоцким («в 1928 м или 1929 году») слышал из уст Багрицкого стихотворение о форварде: «Он читал стихотворение восторженно, задышающимся, астматическим голосом, — читал наизусть. Очевидно, прочел его в журнале „Звезда“, где оно было напечатано в 1927 году».

Антокольский впервые увидел Заболоцкого дома у Тихонова — и был поражен совсем не «поэтическим» обликом молодого поэта и его безыскусной манерой чтения: никакой экспрессии! «Но странное дело — экстравагантность образной структуры, неожиданность и смелость тем сильнее действовали на слушателя, чем меньше заботился об этом автор».

Это чтение в гостях у Николая Тихонова произошло еще до выхода «Столбцов» — и отмечено оно одним замечательным эпизодом:

«Рядом со мной была моя жена Зоя Бажанова, актриса театра Вахтангова. Внезапно она вспыхнула и сказала нечто, что могло, казалось бы, и смутить, и даже оскорбить поэта:

— Да это же капитан Лебядкин!

Я замер и ждал резкого отпора или просто молчания.

Но реакция Заболоцкого была совсем неожиданна. Он добродушно усмехнулся, пристально посмотрел сквозь очки на Зою и, нимало не смутившись, сказал:

— Я тоже думал об этом. Но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение...»

По выходе книги Заболоцкий прислал ее в дар Антокольскому. «Читал я ее с интересом, близким к жгучему. Чувство сенсации, новизны, прорыва в область, никем еще не обжитую до Заболоцкого, главенствовало над всеми прочими чувствами. Думаю, что то же самое испытывали очень многие, не только поэты. Может быть, для

иных это „то же самое“ оборачивалось ощущением скандала. Но это были не лучшие читатели и не лучшие поэты».

К тем, «не лучшим», читателям вернемся чуть позже, а пока все таки о тех, кто был по хорошему впечатлен книгой.

Юный сочинитель Семен Липкин прочел «Столбцы» по совету Багрицкого: стихи поразили его «не только оригинальностью содержания, трагизмом абсурда, не вымысленно литературного, а того, который возникает из за разрыва между духовно прекрасным и угрюмо низменным, — поразили... и классичностью формы, той строгой простотой, с которой слово двигалось в строке».

Огромное впечатление произвели «Столбцы» в студенческие годы на будущего исследователя древнерусской литературы академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он признавался: до сих пор их очень люблю...

Подытоживая подобные свидетельства, исследователь словесности из США Борис Филиппов впоследствии писал в статье «Путь поэта», что книга Заболоцкого стала своего рода откровением для литераторов, столичного студенчества и высших слоев интеллигенции. «Через месяц ее нельзя было купить ни за какие деньги. Книгу переписывали от руки, буквально выучивали наизусть». И, как видно, не без гордости добавлял: «У пишущего эти строки был не только печатный, но и рукописный, и машинописный экземпляр „Столбцов”».

Впрочем, среди собратьев «по цеху», высоко чтимых Заболоцким, его стихи не всем пришлись по душе. Борис Пастернак в ответ на присланную в подарок книгу ответил вежливой, но сдержанной благодарностью — и только. По воспоминаниям Бориса Слуцкого, Заболоцкий «с доброй улыбкой рассказывал», как Осип Мандельштам «разделял под орех его стихи»...

Но вернемся к отзывам на «Столбцы» в литературной периодике конца 1920 х годов.

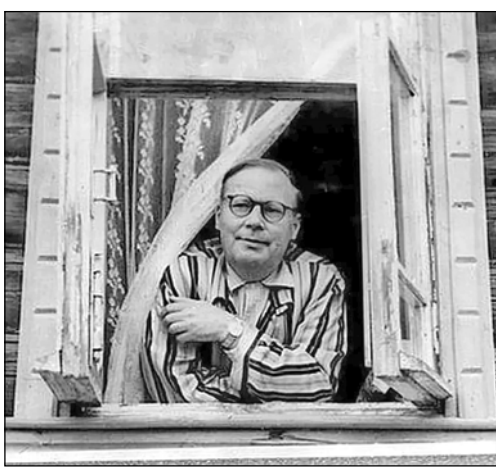
В апреле 1929 года с рецензией в «Красной газете» выступил критик Валерий Друзин. Он принадлежал к РАППу — Российской ассоциации пролетарских писателей, — члены которой обычно недолго думая рубили сплеча всех, «кто не с нами». Как это ни странно, его отзыв был довольно объективным, выделяющим стихи Заболоцкого из общего ряда серых и беспринципных публикаций:

«Смысловая острота и грубая, ничего не боящаяся предметность дают возможность выпуклого показа картин».

Рецензент отметил, что гротескная манера, «снижающая традиционно высокое и превозносящая „штаны”», вовсе не банальное обличие обывательского быта, «над которым... лишь ленивый не издевается», а протест против «безысходного уродства извращенного в пропорциях мира». Впрочем, тут же оговариваясь насчет «темы красной казармы» в стихотворении «Часовой»: не отнесся ли поэт к ней, как к обывательскому быту, — он вопрошал: «Неужели и здесь сатира?»

Вывод его был хоть и поверхностен, но по своему справедлив:

«Мир Заболоцкого („О мир, свинцовый идол мой...”) — это показанный острейшими современными поэтическими средствами достаточно известный в русской поэзии „страшный мир”».



Николай Заболоцкий

Без путеводных указаний, разумеется, не обошлось:

«Перед Заболоцким — мастером стиха, стоит очень трудная задача — преодолеть своих „идолов“, „истуканов“ и „кукол“, выйти к более широкой и ценной тематике, приблизиться к основным задачам молодой революционной поэзии».

В майском номере журнала «Октябрь» появилась — без подписи — рецензия Ильи Фейнберга, ставшего впоследствии известным пушкинистом. Критик предметно разобрал поэтику «Столбцов», заметив, что для неискущенного читателя она слишком сложна и потому круг тех, кто ее по настоящему оценит, «ограничен».

По его мнению, Заболоцкий использовал в стихах «эффект кривого зеркала». Поэт «дискредитирует» систему старого обывательского быта, и это делает его произведение «объективно полезными, хотя бы автор субъективно непосредственно к тому и не стремился».

Его заключение (заметим, высказанное в 1929 году, задолго до классических стихов *позднего* Заболоцкого) весьма прозорливо: «...едва ли можно теперь предсказать дальнейший ход работы Заболоцкого, поскольку „кривое зеркало“ вряд ли сможет надолго остаться его единственным инструментом».

Последний из акмеистов — поэт Михаил Зенкевич — в обзоре стихов в журнале «Новый мир» (1929, № 6) сказал, что «Столбцы» привлекают внимание необычным для молодой поэзии «лица необщим выраженьем». По его мнению, хотя бытовые темы и крайне прозаичны, Заболоцкий сумел не впасть в стихотворную юмористику типа Саши Черного, а удержался на высоте «станковой» лирической поэзии. Посетовав на «часто тусклые рифмы», он пожелал Заболоцкому «более широкого кругозора» и разнообразной и богатой формы.

Литературовед Надежда Рыкова в журнале «На литературном посту», обзвывая поэтические новинки, с похвалой отозвалась о Николае Тихонове, чье «не ослабевает большое и ценное дарование», отметила стихи «выдвигающегося» Николая Брауна и, наконец, высказалась о книге Заболоцкого: «...текущий год подарил нам замечательные „Столбцы“ Заболоцкого, интереснейшего поэта с большим будущим».

Доброжелательные отзывы о книге в скором времени прервались и напрочь исчезли. Замечания рапповца Валерия Друзина Заболоцкому оказались цветочками... В печати послышались совсем другие голоса, и откровенная ругань со временем только крепла. А потом началась неприкрытая травля...

Впрочем, победно шел по стране 1929 год — год *Великого перелома*. После НЭПа и форсированной индустриализации началась другая кампания — коллективизация на селе, поначалу заявленная добровольной, но уже вскоре сделавшаяся насильственной, *сплошной*. Партия дала установку: ликвидировать кулачество как класс, что по русски значит — уничтожить. Сталин выдвинул руководящий тезис: по мере приближения к построению социализма классовая борьба будет только обостряться. Звучит солидно, по научному, как открытие.

Впрочем, как же ей, этой борьбе, не обостриться, если одних мужиков тысячами ставили к стенке, а других, с многодетными семьями, десятками тысяч погнали под дулами винтовок туда, где Макар телят не пас. В ближайшие несколько лет население крестьянской страны уменьшилось на десять миллионов человек. Эту цифру назвал сам вождь в беседе с приезжим журналистом. Впрочем, цифра была приблизительной: всех не пересчитаешь...

Никита Заболоцкий пишет, что первой книжке отца с годом выхода явно не повезло: сложное и совсем не подходящее было для нее время. Тут надо бы добавить: а позже такая книга и вообще не появилась бы в печати на свет божий...

«Российская ассоциация пролетарских писателей моментально отреагировала на изменения во внутриполитической обстановке и использовала новую ситуацию для подавления тех явлений в литературе, которые не укладывались в прокрустово ложе рапповских требований, — справедливо замечает биограф. — В обращении к членам

Всероссийского союза писателей рапповцы провозглашали: „Получилось так, что классовый враг создал для себя агентуру в рядах советской литературы. Получилось так, что некоторые попутчики восстановительного периода в реконструктивный период социалистического строительства... перестали или перестают быть друзьями, спутниками, попутчиками пролетариата — объективно смыкаются с враждебными ему силами” („На литературном посту”, 1929, № 17)».

Рапповцы, а вслед за ними и общесоюзные издания сначала «били» из всех своих орудий по Борису Пильняку и Евгению Замятину — за «белогвардейщину», а затем под огонь яростной критики попал Николай Заболоцкий.

Первой ухнула гаубица критика Алексея Селивановского, одного из руководителей РАППа: в № 15 журнала «На литературном посту» он напечатал огромную статью «Система кошек. О поэзии Н. Заболоцкого».

Критик доказывал, что «уродливые фантазмагии и больные видения Н. Заболоцкого» отнюдь не «детские сказочки», что это поэт весьма хитрый, себе на уме, пытающийся обмануть читателя.

«Основная беда Заболоцкого — в пустоте и бесцельности его метаний. <...>

Вот почему книга „Столбцы”, при всех попытках ее автора сохранить ироническую маску на своем лице, раскрывает перед нами образ отщепленного от общественного бытия индивидуалиста, все духовное бытие которого (в эпоху социалистической революции!) поглощено без остатка темнотой, пошлостью, животностью, сохранившимися в нашей действительности. <...>

Заболоцкий гаерствует, юродствует, кривляется, пародирует Козьму Прутков. <...>

Такая позиция отщепенца индивидуалиста обусловила и все стилевые особенности творчества Заболоцкого, которые социально чужды делу выработки стиля пролетарской поэзии, а технологически реакционны при всей бесспорной оригинальности их».

Ярлык найден: *отщепенец индивидуалист...* — многим критикам еще пригодится...

Однако редакция этого журнала «боевой марксистской критики» была недостаточно удовлетворена своим же литературным начальником и сопроводила его статью заявлением: «Социологический эквивалент поэзии Н. Заболоцкого вряд ли полностью раскрывается в статье т. Селивановского. Есть моменты в поэзии Заболоцкого, сближающие его с новобуржуазной литературой, — во всяком случае, дальнейшее развитие этого поэта позволит, несомненно, с большей точностью и определенностью вскрыть социальный смысл его поэзии».

Злоба дня требовала быть не только святее папы римского, но еще и святее того, кто святее папы римского. Вот почему один литературный критик неусыпно бдил за другим и, чуть чего, тут же сигнализировал. Большинство этих литературных конвоиров будто бы работали по принципу «Критик критику шьет политику».

Литератор Никандр Алексеев, один из руководителей Западно Сибирского отделения пролетарско колхозных писателей, в «Комсомольской правде» (декабрь 1929 года) уже уверенно и априорно называл Заболоцкого «реакционнейшим поэтом». И крыл по-пролетарски-колхозному журнал «На литературном посту» за отсутствие бдительности, дескать, разве можно было печатать сомнительную статью Надежды Рыковой?..

Заголовки последующих обличений поэта в прессе говорят сами за себя: «Распад сознания», «Система девок», «Троцкистская контрабанда в литературоведении» и прочее.

В оголтелую кампанию вместе со столичными изданиями включились и «на местах». Вот один из образчиков:

«За истекший зимний период „Столбцы”, несомненно, наиболее своеобразное и в то же время наиболее тревожное явление на поэтическом фронте.

Тематика Заболоцкого явно реакционна. <...>

Стихотворение „Новый быт” похоже на издевательство. <...>

Заболоцкий является выразителем... мироощущения буржуазии в момент ее социального краха и духовного распада. И оно ничего не имеет общего с реалистическим мироощущением пролетариата. <...>

Нужно насторожиться. Нужно суровой критикой и бдительным разоблачением предотвратить возможность появления подражателей и учеников у Заболоцкого. Нужно неустанно разъяснять чуждость и враждебность этого сумбурного, релятивистского мироощущения. И внимательно следить — куда идет от „Столбцов“ поезд Заболоцкого: на восток или на запад?

Последние стихи Заболоцкого не дают возможности утверждать, что его направление — в сторону Москвы» (статья Вл. Вихлянцев «Социология бессмысленки» в журнале «Сибирские огни», 1930, № 5).

Жанр литературной критической статьи плавно сливался с жанром политического доноса, и к середине 1930-х годов они (статья и донос) стали практически неразличимы. Так сказать, близнецы братья...

Недаром ГПУ, а затем НКВД стали пользоваться при оформлении арестованных писателей, то есть при составлении обвинительных заключений, услугами литераторов. (Заметим, *оформить* — слово из профессионального жаргона органов следствия, обозначающее — завести дело, подвести под трибунал. Автору этих строк однажды довелось случайно услышать азартный диалог за шахматами двух стариков пенсионеров. Дело происходило в обычном городском дворе. «А вот я тебя оформлю!» — приговаривал в пылу сражения один. «Нет, это я тебя сейчас оформлю!» — горячился другой. Сначала я никак не мог понять, о чем это они?.. И лишь потом догадался, где и кем прежде работали заядлые дворовые шахматисты.) При чем «докладные» литераторов иногда становились главным доказательством виновности подозреваемого. Сколько среди таких литературных помощников органов было энтузиастов добровольцев, а сколько призванных, равно как и то, насколько щедро поощрялись или оплачивались их услуги, в общем не столь важно. Важно то, что один из таких литераторов экспертов (Лесючевский) сыграл роковую роль в судьбе Николая Алексеевича Заболоцкого. Произошло это в 1938 году...

Вот, наверное, почему с таким недоумением перечитываешь теперь статьи, касающиеся первой книги поэта: порой просто трудно разобрать, что же перед тобой — литературная критика или же печатный донос?

Ю. Либединский (пролетарский писатель, критик; «Звезда», 1930, № 1):

«Но, товарищи, в том то и дело, что самая основная и трудная задача художника состоит в умении отличать поверхность явления от его действительной сущности, от его диалектического движения. Это у Заболоцкого отсутствует. Он не видит действительной переделки общества — пролетариатом. И в этом заключается порочность его мировоззрения».

Либединский был из ленинградских рапповцев. К тому времени они уже обнаружили у Заболоцкого «элементы новобуржуазности» и на своем активе в резолюции об «углублении классовой борьбы в поэзии» записали, что он из тех поэтов, которые требуют «серьезнейшего внимания». Взяли на заметку — понятно, как будущего или настоящего «врага».

А. Горелов (секретарь Союза писателей Ленинграда; «Стройка», 1930, № 1):

«„Безумие“ Заболоцкого нужно рассматривать не как прием изображения действительности, а как следствие распада некоего социального сознания. <...>

Стихи его несут печать социального проклятия, они уродуют все, что попадает в прокрустово ложе их строк...»

Это пристрелка, а вот прицельный залп:

«Творчество Н. Заболоцкого — это огоньки на могилах. В процессе гниения трупа на поверхность земли прорываются газы, вспыхивающие голубым свечением. В этих могильных огоньках есть своя поэзия, своя красота. Стихи Н. Заболоцкого — те же

могильные огоньки, светящиеся подлинной поэзией. Поэзией отчаяния. Н. Заболоцкий — один из наиболее реакционных поэтов, и тем опаснее то, что он поэт настоящий. <...>

Весь строй этой поэзии находится в кричащем противоречии с жизненной доминантой наших дней. Поэзия безумия всесветной передонощины, развиваясь, может уйти только в кривые закоулки откровенной мистики. Туда уходят „столбцы” поэта Заболоцкого».

Всех откровеннее был «лефовец младшего призыва» Петр Незнамов, выступивший в журнале «Печать и революция» (1930, № 4).

«В поэзии у нас сейчас провозглашено немало врагов друзей. Их, с одной стороны, принято приканчивать, а с другой — творчеству их рекомендуется подражать, — цинично рассуждал он. — Таков Гумилев. В литературе он живет недострелянным; и в ней сейчас бытуют не только его стихи, служащие часто молодым поэтам подстрочником, но и его формулировки».

Незнамов обрушился на одну из таковых:

Высокое косноязычие
Тебе даровано, поэт... —

назвав эти строки «буржуазной формулой», которая теперь неприемлема, ибо «косноязычить во время социалистической стройки» никак не позволено.

Следом критик обрушился на своего коллегу Селивановского, посмевшего назвать книгу Заболоцкого «крупным событием закончившегося литературного сезона»: такой оценки, по его мнению, может заслуживать лишь тот поэт, что «льет воду на социалистическую мельницу».

Заболоцкого он обвинил не только в косноязычии, но и в принципиальном юродстве, писании для «литературных снобов», в «чувственной экспансии», назвав его, в конце концов, «каким то половым психопатом»: «О чем бы он ни писал, он свернет на сексуал». И отказал поэту даже в праве на новаторство:

«Нет, поскольку стихи этого прожженного стилизатора принимают всерьез, надо раз навсегда сказать, что новаторство — не чудачество. Право на эксперимент — это вовсе не право на невменяемость, и без общественной работы стиха, без работы на деле пролетариата не существует».

В итоге стихи Заболоцкого критик назвал «общественно дефективными». Вывод вполне бы сгодился следователям Главного политического управления:

«Пришла пора посмотреть на поэтическую продукцию политически: работает или не работает поэт на пролетарскую революцию и если не работает — исключается. Мы за прекрасную нетерпимость».

Политически — стало быть, не допускать *недострелянность*, как в случае Николая Гумилева: «прекрасную нетерпимость» нужно доводить до логического конца.

* * *

Заболоцкий под огнем рапповской критики не терял присутствия духа. Публично он не отвечал — возможно, следуя аристократическому завету Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, / И не оспаривай глупца». Но завел листок бумаги, куда выписывал «жемчужные зерна» из статей и фельетонов про себя, вроде: «певец ассенизатор», «отщепенец индивидуалист» и т. д. «В компании друзей он важно зачитывал этот перечень, — пишет Никита Заболоцкий, — и все весело смеялись и шутили, хотя догадывались, что скоро им будет не до смеха».

Исаак Синельников вспоминает, что однажды поэт сказал ему: «Нашелся какой то критик кретин, который обвинил меня в нимфомании. Кстати, вы не знаете, что это такое? За это судят?»

По видимому, речь шла о Незнамове, обозвавшем его «половым психопатом».

В другой раз, высказываясь о своих оппонентах, Заболоцкий произнес: «Одно дело, когда говорят: пиши о чем угодно, не касайся только одного. И совсем другое, когда рапповцы требуют: пиши только об одном и больше ни о чем. Это существенная разница».

Никита Заболоцкий задается вопросом: отразилась ли критика «Столбцов» на дальнейшем творчестве отца и связано ли изменение творческого лица поэта в 1929–1930 годах с этой критикой? И отвечает: «Факты биографии говорят о том, что сложный процесс развития мысли и творчества Заболоцкого нельзя однозначно свести к такой простой зависимости».

Но, возможно, настоящий ответ дан самим Николаем Алексеевичем Заболоцким в одном карандашном наброске прекрасного стихотворения. Поэт, по видимому, не считал его законченным (на полях остались варианты строк) и не включил в основное собрание своих стихотворений. А может быть, и так: оставил — для самого себя...

Разве ты объяснишь мне — откуда
Эти странные образы дум?
Отвлеки мою волю от чуда,
Обреки на бездействие ум.
Я боюсь, что наступит мгновенье,
И, не зная дороги к словам,
Мысль, возникшая в муках творенья,
Разорвет мою грудь пополам.
Промышляя искусством на свете,
Услаждая слепые умы,
Словно малые глупые дети,
Веселимся над пропастью мы.
Но лишь только черед наступает,
Обожженные крылья влача,
Мотылек у свечи умирает,
Чтобы вечно горела свеча!

(1950 e)

ИЗ СБОРНИКА «СТОЛБЦЫ»

БЕЛАЯ НОЧЬ

Гляди: не бал, не маскарад,
здесь ночи ходят невпопад,
здесь, от вина неузнаваем,
летает хохот попугаем;
раздвинулись мосты и кручи,
бегут любовники толпой,
один — горяч, другой — измучен,
а третий — книзу головой...
Любовь стенает под листьями,
она меняется местами,
то подойдет, то отойдет...
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,
вдруг барабан заговорил —
ракеты, в полукруг сомкнувшись,
вставали в очередь. Потом
летели огненные груши,
вертя бенгальским животом.

Качались кольца на деревьях,
спadaли с факелов отрепья
густого дыма. А на Невке
не то сирены, не то девки —
но нет, сирены — шли наверх,
все в синеватом серебре,
холодноватые — но звали
прижаться к палевым губам
и неподвижным как медали.
Но это был один обман.

Я шел подальше. Ночь легла
вдоль по траве, как мел бела:
торчком кусты над нею встали
в ножнах из разноцветной стали,
и куковали соловьи верхом на веточке.
Казалось, они испытывали жалость,
как неспособные к любви.

А там, надувшись, точно ангел,
подкарауливший святых,
на корточках привстал Елагин,
ополоснулся и затих:
он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, шел пароходик
с музыкой томной по бортам,
к нему навстречу лодки ходят,
гребцы не смыслят ни черта;
он их толкнет — они бежать,
бегут-бегут, потом опять
идут — задорные — навстречу.
Он им кричит: я искалечу!
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред,
и белый воздух липнет к крышам,
а ночь уже на ладан дышит,
качается как на весах.
Так недоносок или ангел,
открыв молочные глаза,
качается в спиртовой банке
и просится на небеса.

Июль 1926

ЧЕРКЕШЕНКА

Когда заря прозрачной глыбой
придавит воздух над землей,
с горы, на колокол похожей,
летят двускатные орлы;
идут граненые деревья
в свое волшебное кочевье;
верхушка тлеет, как свеча,
пустыми кольцами бренча;
а там за ними, наверху,
вершиной пышно качая,
старик Эльбрус рахат-лукум
готовит нам и чашку чая.

И выплывает вдруг Кавказ
пятисосцовою громадой,
как будто праздничный баркас,
в провал парадный Ленинграда,
а там — черкешенка поет
перед витриной самоварной,
ей Тула делает фокстрот,
Тамбов сапожки примеряет,
но Терек мечется в груди,
ревет в разорванные губы
и трупом падает она,
смыкая руки в треугольник.

Нева Арагвою течет,
а звездам — слава и почет:
они на трупик известковый
венец построили свинцовый,
и спит она... прости ей бог!
Над ней колышется венок
и вкось несется по теченью
луны путиловской движенье.

И я стою — от света белый,
я в море черное гляжу,
и мир двоится предо мною
на два огромных сапога —
один шагает по Эльбрусу,
другой по-фински говорит,
и оба вместе убегают,
гремя по морю — на восток.

Янв. 1926

ЛЕТО

Пунцовое солнце висело в длину,
и весело было не мне одному —
людские тела наливались как груши,
и зрели головки, качаясь, на них.

Обмякли деревья. Они ожирели
как сальные свечи. Казалось нам —
под ними не пыльный ручей пробегает,
а тянется толстый обрывок слюны.
И ночь приходила. На этих лугах
колючие звезды качались в цветах,
шарами легли меховые овечки,
потухли деревьев курчавые свечи;
пехотный пастух, заседа в овражке,
чертил диаграмму луны,
и грызлись собаки за свой перекресток —
кому на часах постоять...

Авг. 1927

ИВАНОВЫ

Стоят чиновные деревья,
почти влезая в каждый дом;
давно их кончено кочевье —
они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
домами плотно заперта.

Но вот — все двери растворились,
повсюду шепот пробежал:
на службу вышли Ивановы
в своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
им подают свои скамейки;
герои входят, покупают
билетов хрупкие дощечки,
сидят и держат их перед собой,
не увлекаясь быстро ездой.

А мир, зажатый плоскими домами,
стоит, как море, перед нами,
грохочут волны мостовые,
и через лопасти колес —
сирены мечутся простые
в клубках оранжевых волос.
Иные — дуньками одеты,
сидеть не могут взаперти:
ногами делая балеты,
они идут. Куда итти,
кому нести кровавый ротик,
кому сказать сегодня «котик»,
у чьей постели бросить ботик
и дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда итти?!

О, мир, свинцовый идол мой,
хлещи широкими волнами
и этих девок упокой
на перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня — грозный мир,
в домах — спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
где ждет меня моя невеста,
где стулья выстроились в ряд,
где горка — словно Арарат,
повитый кружевцем бумажным,
где стол стоит и трехэтажный
в железных латах самовар
шумит домашним генералом?

О, мир, свернись одним кварталом,
одной разбитой мостовой,
одним проплеванным амбаром,
одной машиною норой,
но будь к оружию готов:
целует девку — Иванов!

Янв. 1928